

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ СОЧИНТЕЛЯ

Издатель книги¹, которая представляется благосклонному читателю, может подтвердить, что сам я не думал издавать ее, когда он предложил мне ее печатать; я согласился на его предложение — книга является в свет. Правда, мне самому давно думалось: собрать и издать критические статьи, помещенные мною в течение *двадцати лет* в разных русских журналах², но, главное, за сбором было дело! Предприятие, казалось мне, требовало труда, а особенно времени, чего у меня не доставало. Если писатель не лишен литературной совести и не ослеплен смешным честолюбием и если притом он много писал и много работал для критики повременных изданий, то едва ли согласится он вновь перепечатать без разбора, что напечатал в жизнь свою, а такой—то именно разбор дело довольно затруднительное. Пусть всегда водило пером писателя чистое желание добра, пусть статьи его в свое время имели цену в глазах современников, достигали цели, для которой были писаны. Но время — время судия грозный и строгий: отношения бывают переменчивы, и так часто, и так быстро; сам сочинитель подвержен неизбежному закону изменения, а притом критика не то что художническое создание. Не помню, кто—то говорил, что завоевание всякой истины, во всяком времени, похоже на осаду крепостей и сражения между двумя войсками. Для того и другого строят батареи, копают рвы, разбивают лагери. Взята крепость, выиграна битва, и укрепления, рвы, батареи забыты; самый подвиг остается только в нескольких строках реляции, когда, может быть, им решилось великое событие и он стоил жизни многим

храбрым, был плодом гениального соображения полководца, ознаменован чудесами отваги и смелости. Так истина, завоеванная в то или другое время, сливаясь с другими чертами истории просвещения

303

и образования, преобразованная, измененная, составившая часть запаса, скопляемого веками, походит на взятую крепость, на выигранную битву. А критика, а работа людей, которые взяли, выиграли ее, не те ли они батареи, рвы, окопы, укрепления, которыми приобретен был успех? Любопытны ли они будут, когда и самый предмет их уже потерял цену новости — сделался положительною, бесспорною истиною и не возбуждает живого любопытства людей, быстро летящих вперед, увлеченных новыми страстями, новыми битвами за истины, прежде неизвестные? Пусть критика устремлена была на предметы важные; пусть она показала цену и достоинство того, что без нее не было бы оценено и понято людьми; пусть она бесстрашно передала наследникам то, что без нее погибло бы, дошло до потомства в искаженном виде, оклеветало предка перед потомками — кому о том забота? Кто знает умных, трудолюбивых комментаторов Омира, читая «Илиаду»?..

Но подвиг никакой не пропадает, большой и малый. Есть в истории место для великих событий, есть местечко для примеров частного самопожертвования, достопамятных происшествий и мелких случаев, где в мале блеснуло достоинство человека, среди тьмы, его окружавшей! Отношение, время к месту оцениют каждое

дело. Всякому свое. И если мысль пережить себя есть мысль отрадная — пусть не гремит шумная молва потомства о каком-нибудь смиренном труженике учения, о том, кто безвестно погиб, сражаясь в рядах других, — будет и им память немногих, и их дела также оценит, узнает избранный, и для них также забьется сочувствием сердце какого-нибудь потомка — история и им даст строчку на своих скрижалях, если только истина была целью скромного труда их, если польза ближних руководила их, если совесть не упрекала их за сделанное. Как часто утомленное настоящим потомство обращается к прошедшему, как часто ищет оно решений будущего в минувшем и как часто хотелось бы ему видеть для того предков во всевозможно полной картине, со всеми дробями их страстей, их отношений, даже ошибок и внешней одежды! Литература, столь важная часть общественного быта, должна занимать место в подробностях того, что настоящее обязано передать будущему. На таких подробностях основан интерес записок, которые может и должен оставлять после себя каждый, кому удалось видеть и заметить что-нибудь в своем времени. Их должен оставить после

себя и литератор, которому удалось быть деятельным среди своих современников. Как любопытно было бы теперь нам читать записки какого-нибудь современника Ломоносова, Державина, Карамзина! Настанет время, когда любопытный потомок также пожелает иметь записки современника Грибоедова, Пушкина, литератора

нашей эпохи, имеющей также свои любопытные стороны. Журналы, критику не должно ли отчасти причислить к разряду записок? Не показывают ли они также многообразных сторон своего времени, страстей его, мнений, подробностей быта? — Вот точка, с которой смотрел я на свои критические статьи, решаясь выбрать и напечатать из них под именем «Очерков» то, что может еще принести некоторую пользу в настоящем, показать замечательные подробности прошедшего и представляет личный интерес для меня самого. Последнее важно мне как человеку, как члену общества и семьянину, который хочет, чтобы дети его за него не краснели.

Немногие из русских литераторов, говоря вообще, писали столь много и в столь многообразных родах, как я. Едва ли какой-нибудь современный предмет, сколько-нибудь волновавший умы и сердца моих современников, не обращал на себя моего внимания как критика и журналиста. Изучение и разбор всего, что мелькало перед нами, в минувшие 15, 20 лет, увлекали меня непрерывно и постоянно. Осмеливаюсь думать, что в том, что было мною писано, и не одни современники найдут повод к размышлению. Многие из спорного для нас еще доныне не решено и предоставляется решению, может быть, детей наших, а особенно может и должно еще занять нас самих в настоящем времени. Менее ли любопытны современные черты прошедшего, на которые теперь сам я смотрю как посторонний зритель, уже не сочувствуя им живым участием, какое увлекало меня некогда, смотрю, как на бумаги выигранного или проигранного процесса судебного? Наконец, мои личные отношения к тому, что я писал, — они для меня всего важнее.

Кладу руку на сердце и дерзаю сказать вслух, что никогда не увлекался я ни злобою — чувством для меня презрительным, — ни завистью — чувством, которого я не понимаю, — никогда то, что говорил и писал я, не разногласило с моим убеждением и никогда сочувствие добра не оставляло сердца моего; оно всегда сильно билось для всего великого, полезного и прекрасного.

305

Смею думать, что самые враги мои, если они и в состоянии сказать обо мне очень многое, в тайне сердца своего не станут противоречить сим словам моим. Смею прибавить, что такое постоянное стремление доставляло мне минуты прекрасные, усладительные, награждавшие меня за горести и страдания жизни моей. Не раз пожимали мне руку те, кто лучше узнавал меня, делались друзьями те, кто не любил меня прежде, смотря на меня с неверной точки зрения. Сколько раз слышал я искреннюю благодарность и привет добродушных юношей, говоривших, что мне одолжены они нравственным наслаждением и верою в добро! Не скажет обо мне, кто примет на себя труд познакомиться с тем, что было мною писано, не скажет, чтобы я чем-либо обесславил звание, которое всегда высоко ценю и ценил, — звание литератора. Мои слова не самохвальство, но искренний голос человека и литератора, который дорожит названием *честного*. Между тем в столько лет... как человек, я платил горькую дань несовершенствам и слабостям человека... Сколько раз видал я, что мое искреннее убеждение бывало неверно, сколько раз разочаровывался

я в мечтах моих, сколько раз обманывали меня обольстительные надежды!.. Пусть вержет за то на меня камень тот, кто сам не испытывал обмана и разочарования в окружающем его и — что еще грустнее — в самом себе!.. Если ты еще юн, собрат мой, — ты не судья мне: дай пробиться седине на голове твоей, дай похолодеть сердцу твоему, дай утомиться силам твоим от труда и времени и тогда говори и суди меня!

Если я был одним из самых многописавших и самых деятельных литераторов своего времени, я должен был чаще других сталкиваться с своими современниками. Смело говоря то, что по крайней мере казалось мне истиною, я должен был возбуждать против себя весьма многих. Не зная чувства робости, не умея мириться с другими уступкою совести, я смело вызывал на битву и не укрывался от единоборства ни с кем. Потому не о многих и не против многих литераторов было столько писано, как обо мне и против меня. Немного литераторов русских было доньше, которые возбуждали бы столько свирепых нападений, как я, и — я стыжусь даже за многих, стыжусь: какое низкое, постыдное оружие бессовестных порицаний, лживых толков и клевет они употребляли против меня! Честное слово, что теперь, начиная пятый десяток жизни моей и третий с того

времени, как выступил я на поприще литературное, честное слово, что до сих пор не знаю ни одного человека, ни одного литератора, которых бы я ненавидел, — несправедливость и ошибку каждого я всегда прощал и

прощаю, готовый сам сознаваться в своей несправедливости и ошибке. Но признаюсь: есть *три, четыре существа*, которых — не могу не презирать! Прошу простить: презрение чувство невольное. Можно не сердиться на врага своего, можно прощать его и желать ему добра: гнев в нашей власти. Но никакие силы человеческие не властны победить чувства презрения, возбуждаемого *некоторыми* людьми... К счастью человечества, число таких людей всегда бывает ограничено; порадуемся: они редкие явления, уроды нравственного мира... Но не о том речь.

Столько лет подверженный нападениям многочисленным, столько раз сражавшийся и против стольких, я должен был неоднократно подвергаться пересудам и кривым толкам, и они могли набросить на меня тень в глазах посторонних, даже многих, может быть. Мы все так легковерны на зло, так ленивы, когда надобно рассмотреть молву о ближнем, так любим безотчетно повторять, что слышали, повторять даже без всякой злобы, с улыбкой на устах, как шутку, как острое словцо, что, без сомнения, и я остаюсь без вины виноват в мнении иных людей, впрочем достойных всякого уважения. Некоторые уверены, например, что я несправедливо, без должного уважения, по чувству эгоизма восставал на Карамзина, что я дерзко писал о Пушкине, Жуковском и проч., и прочее, чего не исчисляю и о чем было сто раз повторяемо печатно. Не хочу упоминать об обвинении более тяжком, которое перешло даже за пределы России и отозвалось в сочинениях иностранцев, удостоивших нас чести писать о современной русской литературе по глухим и неверным известиям. Сколь многие притом считали меня участником и перебежчиком разных партий

литературных! На все такие мнения пусть ответствует издаваемая мною ныне книга: в ней нет ничего вновь мною прибавленного; в ней только собрано то, что думал и писал я в течение многих лет. Я не исключил из нее ничего прежнего и смею думать, что она послужит мне оправданием перед всеми. В ней увидят, что такое называли мои противники дерзкими, неприличными выходками против Карамзина, Жуковского, Пушкина, увидят мои литературные и всякие мнения, надежды,

307

догадки, мысли, увидят, как однообразно, постоянно доброе намерение всегда одушевляло меня, уважение к истинному и прекрасному водило пером моим и как общая польза всегда была моею целью. В романе, драме, истории, критике я всегда был один и тот же. Мечтатель в повести, беспристрастный исследователь в истории, иногда строгий критик чужого произведения, я ошибался и думал, может быть, неверно, но никогда не изменял добру и никогда не подымалась рука моя сорвать венок с заслуг, никогда голос мой не возвышался против дарования истинного! Потому-то согласился я с особенною охотою на предложение почтенного издателя «Очерков». Критические статьи мои собраны из десятков томов разных повременных изданий. Пусть строго осудят их, пусть не найдут в них ничего такого, за что стоили бы они перепечатывания, пусть скажут, что они имели интерес только временный, — спорить не стану. Правда, позволяю себе думать, что некоторые мысли о теории наук и искусств³, изображения Ломоносова, Державина,

Кантемира, Дмитриева, Хемницера могут иметь и не мимолетный интерес; что разборы сочинений Пушкина, Жуковского, Мерзлякова, Козлова, Карамзина, Кукольника, Берха и проч. имеют цену как материалы для истории нашей литературы; что другие статьи: о путешествиях Муравьева, Щукина, Белявского, турецкой войне 1828 года и теперь любопытны будут как дополнения характеристики нашего времени, — все это я позволяю себе думать, но если скажут, что я думаю несправедливо — согласен и не спорю! Я не судья сам себе. Но да позволят же мне представить мои статьи как личное оправдание мое и как первые опыты русской самобытной критики. До появления моего в журнальной литературе критика только изредка мелькала в нашей журналистике. Отдадим справедливость немногим критическим статьям Греча, Мерзлякова, Каченовского, Булгарина и Воейкова: имена сих почтенных литераторов останутся как имена остроумных критиков за написанные ими критические статьи. Но никто не оспорит у меня чести, что первый я сделал из критики постоянную часть журнала русского, первый обратил критику на все важнейшие современные предметы⁴. Мои опыты были несовершенны, неполны — скажут мне, — и последователи мои далеко меня обогнали в сущности и самом образе воззрения. Пусть так, да и стыдно было бы новому поколению не стать выше нас, поколения уже преходящего,

потому выше, что оно старше нас, после нас явилось, продолжает, что мы начинали, и мы должны быть довольны, если наши труды будут иметь для него цену историческую. Критика Мерзлякова на «Россияду» Хераскова, критика Каченовского на «Сочинения» Дмитриева, критика Греча на «Грамматику Академии», критика Воейкова на трагедии Грузинцова, критика Булгарина на «Образцовые сочинения» и на «Историю государства Российского» Карамзина будут достойны всегдашнего внимания как памятники ума и — отваги, которую оценит беспристрастный наблюдатель⁵.

Я был строг в выборе статей моих: взял весьма немного из многочисленного и только с немногим предстаю на суд читателей. Остальное — опыты несовершенные или статьи слишком частные, мелочь современная, борьба с великанами, которые потом сами собою превратились в пигмеев, все, все остальное — да тонет в Лете! Говоря, что статьи, вновь издаваемые мною, остаются в прежнем виде, я должен, однако ж, сказать об одном обстоятельстве как одной из главных побудительных причин издания «Очерков», именно: статьях, заимствованных в «Очерки» из «Библиотеки для чтения», в которой почти два года был я постоянным участником. Читатели увидят в этих статьях немалые отмены против того, как они были напечатаны первоначально в «Библиотеке для чтения»⁶. — Объяснимся, ибо объяснение здесь весьма важно для меня.

Не мое дело, по крайней мере не здесь место, излагать начало «Библиотеки для чтения» и мое мнение об ней или рассказывать о моих отношениях к ее почтенному редактору. Скажу одно, что с самого начала сего журнала я был решительно не согласен с его целью, планом,

воззрением и, показывая в начале его и потом мое искреннее желание ему добра и успеха, я отрекался от всякого постоянного в нем участия, хотя неоднократно был убедительно приглашаем к тому. В 1836 году, когда давно уже прекратился журнал, мною издававшийся⁷, я приезжал в Петербург, и — для чего скрывать? О подобных поступках надобно говорить во всеуслышание. — Добрый, благородный издатель «Библиотеки для чтения» А. Ф. Смирдин оказал мне тогда бескорыстную и важную услугу в моих тогдашних стесненных обстоятельствах, услугу, когда люди, называвшиеся моими друзьями, люди, которым имел я, может быть, некогда случай быть полезным, отвергли меня, показали мне себя в самой

309

темной краске бесчувственного эгоизма... Бог с ними! Я давно простил им! Тем с большею признательностью вспоминаю о немногих, тем благодарнее был и всегда буду я доброму, благородному А. Ф. Смирдину, который за услугу свою требовал участия моего в «Библиотеке для чтения». — Отказаться я не мог. Мы сошлись с редактором ее. После продолжительного с ним переговора я взял на себя отделения «Критики» и «Библиографии» и начал доставлять из Москвы статьи по обоим отделениям. С первого шага все условия моего сотрудничества были нарушены редактором⁸. Не мое было дело отвечать за статьи самого редактора и других сотрудников, а равно и *не мои* критические и библиографические статьи (ибо касательно некоторых предметов мы решительно

согласиться не могли, и я об них писать отказался), но, к изумлению моему, редактор наложил право нестерпимого цензора на все мои статьи, переделывал в них язык по своей методе, переправлял к ним, убавлял из них, и многое являлось в таком извращенном виде, что, читая «Библиотеку для чтения», иногда вовсе я не мог отличать: что такое хотел я сказать в той или другой статье? Не говорю о статьях библиографических — библиография «Библиотеки для чтения» вообще была непрерывною шуткою; я не дорожил ею и отдал ее на жертву прихоти редактора, но переделке подвергались и все большие статьи. Возражения мои были тщетны, и несмотря на все желание мое исполнить желание доброго А. Ф. Смирдина, я принужден был, в декабре 1837 года, решительно отказаться от всякого участия в «Библиотеке для чтения». Между тем мое сотрудничество не было тайною, и в совести моей я не могу быть спокоен, видя свои статьи обезображенными, хотя под ними и не было моего имени. До какой степени мысли мои были изменены — поверить трудно! Приведу три или четыре примера. Я послал редактору статью о комедии М. Н. Загоскина «Недовольные», где говорил о комедии Грибоедова, изъявляя беспристрастно мнение мое и отдавая справедливость и прекрасному произведению М. Н. Загоскина и превосходному произведению Грибоедова. Редактор прибавил брань на «Ревизора», комедию г. Гоголя, и придал словам моим о Грибоедове такой смысл, что ими оскорбил всех почитателей памяти Грибоедова, и прежде всех первого меня. — В статье о *Пушкине*, написанной мною по получении в Москве известия о горестной утрате великого поэта, редактор

вставил целую страницу мнений своих о русском языке, с коими я никак не мог согласиться (тем более что под статьей было подписано мое имя). — Из статьи об «Истории крестовых походов», соч. Мишо (пер. г-на Бутовского), редактор отрезал окончание и заменил его своим, которое, кроме того что было вовсе несогласно с моим образом мыслей, но решительно противоречило началу и середине статьи. — В статье об «Истории жизни и путешествий Колумба» редактор вставил *похвалы мне* и брань на русский перевод сей книги г-на Бредихина, чего никогда не писал я. Я хотел рассуждать, а меня заставляли браниться. Но всего забавнее было приключение с статьею о стихотворениях г-на Соколовского «Мироздание» и «Хеверь». Желая показать, что поэт совершенно превратно смотрит на предмет свой, я написал статью, где подробно изложил свои мысли о духовной поэзии и сочинениях г-на Соколовского. Редактор «Библиотеки для чтения», каким-то непостижимым для меня образом, умел вырезать из статьи некоторые частицы и поместил их в библиографии, а остальному дал название «О духовной поэзии» и в виде статьи отдельной напечатал в отделении *прозы*, с моим именем. В этой статье столько нашел я прибавок, урезок, изменений, что вовсе не понял и теперь не понимаю, о чем идет в ней речь! Статья начинается, например, небывалым анекдотом, будто Пушкин разговаривал некогда с Батюшковым о русских стихах. Но Батюшкова с 1817 года не было уже в Петербурге, когда Пушкин был еще учеником в Лицее, писал детские стихи и не мог

рассуждать о поэзии русской с одним из корифеев тогдашней русской поэзии. По крайней мере я ничего подобного не слыхивал от Пушкина и ничего не писал о разговоре его с Батюшковым.

Радуюсь, что теперь, печатая «Очерки», могу освободить себя от непринадлежащего мне и непризнаваемого мною. Беру из «Библиотеки для чтения» те только мои статьи, которым (не имея у себя прежних оригиналов моих) мог я памятью возвратить по возможности настоящий смысл их. От всего остального, что писано в «Библиотеке для чтения», в отделении библиографии 1836 и 1837 годов, я решительно отрекаюсь и ничего там помещенного прошу не почитать моим; оно ни мое, ни редактороно, а бог знает чье, и что оно такое, я первый менее всех понимаю. Из статей критических, может быть, будут еще взяты некоторые в 3-й

311

и 4-й томы «Очерков», если только сии томы будут изданы.

Мои предварительные объяснения кончились. Пусть книга говорит сама за себя — это уже не мое дело. Не знаю, удостоится ли вновь благосклонного внимания читателей издаваемое книгою, что некогда было награждаемо одобрением почтенных и просвещенных современников в виде статей журнальных. Сам чувствую, перечитывая ныне иное, через много лет, неполноту, несовершенство многого, но если бы считал я мои «Очерки» решительно бесполезными в настоящее

время — для чего лицемерить? — я не стал бы их перепечатывать...

Многое в них обновляет для меня в настоящем чувство утешительное, но еще больше внушает чувство грустное, сознание недостигнутой мечты, невыраженных идеалов. Такое чувство, думаю, естественно каждому, кто *жил* сколько-нибудь и *мыслил*. Только невежество, только глупость получили на сей земле, впрочем, не знаю, счастливую ли, участь самодовольства. Есть другая награда, более драгоценная, которую благословляет нас Провидение: мысль, что, если бог дал нам что-нибудь, сильно горевшее в душе нашей, сильно тревожившее нас в дни нашей юности еще бессознательным, темным ощущением, мы не погубили его потом в суете и бедствиях жизни, *не зарыли таланта в землю, как раб ленивый* в притче евангельской, старались разработывать тайные рудники души нашей, не тушили света во мраке тяжелого бытия. Да, такая уверенность — награда сладостная и драгоценная. Пусть мы не достигли искомым нами идеалов, пусть не оправдали надежды на самих себя, по крайней мере порадуемся, что не бесплодно утраченная протекла жизнь наша...

Теперь, когда, по вычету вероятностей, мне остается жить менее, нежели я жил⁹, когда посулы будущего уже не обольщают души моей и золотые сны не облачают наготы существенного, когда лета и жизнь чаще приковывают взоры мои к общей нашей матери — земле и прогулки на кладбище становятся для меня утешительнее самого веселого пира, более других строго сужу я обо всем, что успел сделать, и думаю: *как мало сделано!* Нередко в душе моей вскипает еще желание деятельности, иногда воображение еще далеко ставит грани того, что *можно*

сделать... Но угрюмый опыт останавливает мечту и щиплет крылья моего воображения...

312

С какою радостью желал бы я передать юному, свежему силами поколению все, что многолетний опыт, размышление и труд дали мне, все, что таится в душе моей, для пользы ближних, для чести отечества, для присовокупления в сокровищницу знаний и что, вероятно, погибнет не высказанное, умрет со мною!.. Сколько еще предметов для работы, сколько труда, почетного, прекрасного в настоящем состоянии нашего просвещения и образования! Желал бы я указать на сии труды и работы, ожидающие делателей, желал бы сказать: «Дорожите каждым часом, каждою минутою нашего неверного, мимолетного бытия; помните, что только пользою и добром оценивается наша жизнь — *здесь и там*, и если не всякому из нас дано, если только немногим избранным дано призвание творца, поэта, художника, то ни у кого из нас не отнята воля на труд, а при сильной воле человек может сделать многое, очень многое, больше, нежели он себе сначала воображает. Но помните, что только трудом и размышлением покупается честь и успех, упорством, постоянством в стремлении к положенной цели, и что нередко — часто даже — нас встречают неблагодарность, злоба, своекорыстие, насмешка. Не робейте, друзья! Паче всего гоните от себя *дух уныния*; ищите награды в самом труде, не ожидая другой награды — придет и она, может быть...»

Все это и многое еще желал бы я сказать тем, кто должен сменить нас на поприще мира — сказать, что все

наши пожертвования, все труды наши, все горести бытия на поприще науки и искусства искупают минуты, каких не знает человек, не испытавший работы умственной. Какое наслаждение даже в самом приобретении знаний, в нравственном, духовном совершенствовании самого себя! Какая утеха, когда потом наши понятия светлеют, когда темное ощущение наше переходит в ясное чувство самопознания; когда для беседы с нами отверзаются безмолвные гробницы и тени великих всех веков приходят беседовать с нами в наше уединение, даже на языках давно умолкнувших; когда, в избытке чувства, переполненная душа наша стремится передать другим то, чего не может удержать в самой себе, облекает идеи свои в образы и формы, дает им жизнь и бытие и, как драгоценный залог бессмертия нашего даже и на земле, передает своему времени, своим ближним мысль, идею, родившуюся на берегах Инда, Цефиза, Тибра, Гвадальквивира, Рейна, Авона, не погибшую в пыли веков,

313

или тайны мудрости индийца, эллина, германца, озарявшие их для блага и счастья человечества...

Желал бы я пересказать им и мою собственную жизнь, то, чего стоило мне исполнение мечты моей, еще в детстве увлекавшей меня в мир фантастических созданий и труда умственного, чего стоило мне старание стать в ряду других современников, имена которых волновали душу мою с самых юных лет... Может быть, когда-нибудь я представлю им отрывки из заметок о жизни моей...¹⁰ Не из хвастовства решусь я на такое предприятие и — чем

хвастать, боже великий! если я сам лучше других понимаю всю ничтожность моего бедного дарования, всю слабость средств, какими заменил я недостаток моего первоначального воспитания, всю недостаточность сделанного мною! — Мои заметки могут быть любопытны подробностями — мне удалось многое видеть в жизни моей, разнообразной, переменчивой, которая из купеческой конторы и водочного завода перевела меня в кабинет литератора и ученые общества и Академии, с берегов Ангары и Тускори на берега Москвы и Невы и простого купца сближала с столь многими достопамятными людьми не только русской литературы, России, но и Европы нашего времени. Мне хотелось бы изобразить притом многие любопытные стороны нашего века, нашего времени, столь богатого диковинками, выставить ряд портретов современных — галерею пеструю и разнообразную. Я исполнил бы там даже и святой долг благодарности немногим, кто дружбою, участием, благодетельным для души и сердца моего вниманием наставлял меня, был благодетелем моим — иных из числа их уже нет на свете, давно нет и тебя, мой отец, человек, память которого священна для детей твоих, тебя, которому одолжен я и жизнью, и всем тем, что только составляет достоинство человека, тебя, страдалец мира, неузнанный, непонятый людьми и судьбою!.. Простите говорливости, в какой обвиняют всех старых людей, когда они заговорят о прошедшем; я не могу здесь молчать и прибавлю вам еще несколько слов — беспорядочных отрывков из моих воспоминаний...

Наш род *Полевых* был одним из старинных и почетных посадских родов в Курске, наряду с Климовыми, Голиковыми и другими почетными

курчанами. Замечательно, что, кроме Курска, Полевых нигде больше не было, но тем многочисленнее были они в Курске, так что их различали даже одних от других *уличными* названиями;

314

наш род по уличному прозванию назывался *Осипов*, по имени моего прадеда *Осипа*, который был известен по своему благочестию и считался большим начетчиком духовных книг. Я видел подпись его, четкими, кудрявыми буквами, на купчей курского магистрата, в ряду с другими почетными гражданами. Он вел большие торговые дела, но в старости устранился он от всех дел, поручил их детям, ходил только к церкви божией и жил в комнатке подле бани, стоявшей на огороде его старинного дома. Дом этот находился против бывшего в Курске верхнего Троицкого монастыря, на высоком берегу живописной Тускори (его купил потом купец Горбунов). Впрочем, предки наши не умели наслаждаться живописными видами; дома их строились внутри дворов, обнесенных на улицу заборами, ворота которых днем и ночью бывали заперты. Прадед был одним из богатых людей в Курске; у него была каменная *палатка* для складки товаров, которые вывозил он из Персии, куда ездил торговать, а таких палаток в целом Курске было только две. Дед мой Евсей был женат на Климовой, сестра которой была за И. Л. Голиковым, одним из богачей курских, двоюродным братом Михаила Сергеевича Голикова, которого воспел Державин под именем *Soceda*¹¹, и Ивана Ивановича Голикова, известного сочинителя

«Деяний Петра Великого»¹². Но первый удар нашему дому нанесен был возмущением Тахмас–Кулыхана, где погибли русские купцы, находившиеся тогда в Персии, и между ними брат моего деда, причем все товары были разграблены. Дед мой принужден был ограничиться торговлею с бухарцами в Оренбурге. Странно, что какой–то дух предприимчивости отличал моих предков среди тогдашнего купечества. Так, брат моего деда Иван погиб в Америке, куда отправился искать счастья, а старший дядя мой Василий решился ехать в Камчатку, где оставалось наследство после Ивана; и он также не воротился на свою родину. Дела деда поправились, но пугачевщина вконец разорила его. Дед был в числе сидевших в оренбургской полугодовой осаде 1773 года. Участь его была долго неизвестна бедному семейству его. Отец мой был тогда лет 13–ти (он родился в 1759 году), выучен уже грамоте у дьячка, и бабушка посылала его торговать мелочами на курском базаре. Между тем Голиков сделался откупщиком в Сибири; бабушка просила его принять сироту, племянника Алексея, и дать ему местечко. Голиков велел отправить его в Сибирь, и отец мой

315

отправился в Тобольск. Он видел мимоездом пожарище Казани, сожженной Пугачевым, и, в юности увлеченный судьбою в Сибирь, провел там сорок лет деятельной, трудной, разнообразной жизни. Вскоре был он отличен хозяевами. Ему поручали дела в Москве, Петербурге, Казани, Тобольске, но вскоре настало для него занятие важнее. Голиков имел участие с знаменитым Шелиховым

по торговле и промыслам в Америке¹³. Его капиталами совершена была знаменитая экспедиция Шелихова в 1783 году, когда он открыл Кадьяк, за что обоим компаньонам даны были медали и шпаги в 1788 году. Но ловкий Шелихов умел запутать дела, начал с Голиковым тяжбы: и отцу моему поручил Голиков быть поверенным с его стороны. С тех пор отец мой поселился в Иркутске. Там женился он на бедной сироте, умел окончить все ссоры, получил пай в торговле американской, сделался другом Шелихова, и они решились утвердить на прочном, незыблемом основании дела в Америке. Отец мой составил план обширной компании, поехал в Петербург и уже возвратился в Иркутск с условиями, на какие согласился Голиков, бывший тогда откупщиком в Петербурге, когда дорогою услышал он о смерти Шелихова (1795 года). Начались споры за дележ богатого наследства. Отец мой подвергся жестокому гонению, но не унывал. Зная лучше всех дела и соперничествуя Голикову, которого бессовестно умели вооружить против него, и Шелихову, сделавшимися его врагами, он уговорил иркутских купцов завести другую компанию. Напрасно мирил и ладил дело Н. П. Резанов, зять Шелехова, бывший впоследствии камергером, обер-прокурором и потом послом в Японии. Уговорили отца моего от всего отступить. Компании соединились, приняли название Соединенной Американской. Отец мой получил за весь свой пай 100 000 рублей, забыл об Америке и занялся делами другими, намереваясь оставить Сибирь. Прошло не много лет. Смелое торговое предприятие и излишняя доброта и доверчивость к людям вдруг лишили его состояния. Едва мог он расплатиться, остался почти ни с чем и отправился в Петербург в 1802 году. Американская

компания, составленная из шелиховской и иркутской, получившая многочисленные привилегии, распространившая свои дела, имевшая уже главное правление в Петербурге и отправлявшая корабли кругом света, видела в нем опытного, особенно нужного ей человека и уговорила его принять место правителя в конторе охотской и иркутской. Отец мой

316

опять принялся за американские дела, но недолго пробыл он и принужден был отказаться от своей должности. Надобно было что-нибудь делать. Еще кровь его кипела деятельностью; средства казались неистощимы. Он завел выделку морских котов и на небольшие деньги, какие успел собрать, решился основать в Сибири фаянсовую фабрику. Имя Веджвуда¹⁴ произносил он с восторгом. Материалы нашлись близ Иркутска; двое каких-то ссыльных мастеров, токарь и лепщик, бывшие некогда на Петербургском фарфоровом заводе, были первыми его помощниками. Он продал свой дом в городе, занял обширное место за городом, на речке Ушаковке, построил там себе небольшой дом, завел свой фаянсовый завод и начал работать. Это было в 1805 году. Здесь начинаются уже мои живые воспоминания. Из всего, что было прежде, помню кое-что, отрывками, случайно. Но в 1805 году мне было девять лет (я родился 22 июня 1796 года).

Помню отца моего в ту пору уже с сединою на голове, но еще бодрого, свежего, пылкого, горячего, деятельного, всегда в своем халате или за делом, или с книгою в руках. Только теперь могу я оценить его необыкновенный ум,

множество практических его сведений, его светлые мысли обо всем. Школа опыта и жизнь в свете ознакомили его с людьми, путешествие по пустыням Сибири — с природою. Прибавьте к тому огромное чтение (он не знал ни одного языка, кроме русского, но не знаю, чего не читал он по-русски в свое время), память чрезвычайную, привычку мыслить, любопытство безграничное, живость юноши даже в преклонных летах, вспыльчивый характер, при младенческом сердце, умное, благородное лицо с голубыми глазами, стройность тела при некоторой тучности, веселость, дар слова, и вы очертите себе портрет отца моего. Не знал я никого другого более его добродетельного и благодетельного, не знал никогда сердца более чувствительного — сколько раз заставлял я его, в старости, плачущим за романами, сколько раз видал, что последний рубль делил он с бедным, слышал, как прощал он обиду, неблагодарность! Но в гневе он бывал ужасен. Мы любили его без памяти и боялись чрезвычайно, хоть он сам иногда игрывал, бегивал с нами, как дитя. Пылкость и воображение неукротимые, при доверчивости к другим, всегда губили его, и тут не помогали ему ни ум, ни опытность. Сколько раз говаривал он мне, что последние слова дедушки при последнем прощанье его с ним были: «Алексей! не буди

яр!» — и при первом случае увлекался он пылким, добрым своим характером! Прежде любил он жить открыто, но когда начал я помнить себя, мы жили уже весьма скромно. Отец мой мало выезжал из дома, но

гостей всегда бывало у нас много; весь город знал, любил и уважал его; с ним приходили советоваться, к нему шли мириться. Губернатор приезживал к нему запросто и требовал, чтобы он оставался в своем халате. Все, что только являлось в Иркутске замечательного, каждый путешественник посещал отца моего.

Нельзя, однако ж, ничего вообразить страннее понятий отца моего об образовании и вследствие того о методе воспитания, какое следовало дать детям. Собственно, методы у него не было никакой. Он чувствовал пользу учения и образования, желал их, но долго надобно бы говорить, объясняя, что значили в его понятиях слова «деловой человек» и что такое называл он «вздором». Писатель в глазах его был что-то странное, хоть он глубоко уважал Голикова, и сто раз слышал я от него все подробности об этом любопытном историке Петра Великого, с которым хорошо дружен был он как родственник. Несколько раз хотел отец мой послать меня в Петербург, в Коммерческое училище, где очень знаком ему был директор, известный Подшивалов. Я почти не помню себя неграмотным, потому что лет шести был я, когда старшая сестра выучила меня читать, и лет восьми я уже читал вслух — матери моей романы, отцу уже Библию и «Московские ведомости», а десяти перечитал уже все, что было в шкапе у отца моего: «Всемирный путешественник», «Разговор о всеобщей истории» Боссюэта, «О множестве миров» Фонтенеля, «Путешествия Ансона и Кука», «Деяния» и «Дополнения к "Деяниям Петра Великого"», несколько разрозненных томов сочинений Сумарокова, Ломоносова, Карамзина, Хераскова, театра Коцебу и проч. Добрый товарищ моего детства, А. А. Титов (он теперь правитель Компанейской

конторы в Иркутске), выучил меня писать, и мне было лет десять, когда я вел уже домашнюю контору у отца моего и писал — да, *писал стихи и прозу*, сам не зная, что такое стихи и проза, выдавал газету «Азиатские ведомости», вроде «Московских ведомостей», журнал «Друг России», вроде «Московского Меркурия» (Макарова), от которого я был в восторге, написал драму «Брак царя Алексея Михайловича», трагедию «Бланка Бурбонская», интермедию «Петр Великий в храме бессмертия», сочинял «Путешествие по

318

всему свету» и решился свести воедино «Деяния» и «Дополнения» Голикова. Если успевали мы достать новых книг у кого-нибудь, я просто зачитывался, забывал *дела*; тут-то начиналась буря: отец бранил меня, жег мои драмы и журналы, отнимал у меня книги. Но через несколько время я опять принимался за прежнее, и отец мой, страстный политик, читая «Московские ведомости», «Вестник Европы», «Политический журнал», забывал свое запрещение, говорил, рассуждал со мной, как со взрослым; мы вместе бранили Наполеона, делили Европу, ждали с нетерпением почты, которая привозила новости о наших победах, о Тильзите, об Эрфурте, о Вене¹⁵; я наизусть выучивал статьи из «Русского вестника» вместе с «Россиядой» Хераскова, стихами из «Моих безделок» Карамзина, притчами Сумарокова, «Мыслями вслух на Красном крыльце»¹⁶. Сделался наконец ходячею справочною книгою отца моего по географии и истории, потому что память у меня была такая, какой я ни у кого

другого не встречал. Выучить наизусть целую трагедию мне ничего не стоило. Словом, если надобно выразить умственное образование мое до 1811 года, то оно было таково: я прочитал тысячу томов всякой всячины, помнил все, что прочитал, от стихов Карамзина и статей «Вестника Европы» до хронологических чисел и Библии, из которой мог пересказывать наизусть целые главы, но это был какой-то хаос мыслей и слов, когда сам я едва начинал мыслить. Между тем я был *деловым человеком*, управлял заводами отцовскими (к своему фаянсовому заводу он присоединил еще водочный, войдя в связи с тогдашними откупщиками), вел контору, расчеты, ходил и ездил в город по делам и слыл в городе диковинным мальчиком, с которым, как с ученым человеком, рассуждал сам губернатор и спорил директор гимназии.

В 1811 году отец мой, успевши поправить несколько свое состояние, решился оставить Сибирь. Воображение сулило ему золотые горы в России. Он исчислял десятки предприятий и от каждого сотни тысяч, а я должен был отправиться предварительно с его препоручениями в Москву. Мне было лет пятнадцать. В мае 1811 года оставил я Иркутск, был мимоездом на Макарьевской ярмарке¹⁷, а в августе приехал в Москву, где поселился у старого отцовского приятеля...

Говорить же о впечатлениях моих, когда, не оставляя прежде никогда Иркутска, я вдруг проехал через всю Сибирь, видел первую в свете ярмарку и увидел древнюю

Москву? Ничто не поразило меня, однако ж, так, как театр и книжные лавки (первая пьеса, которую видел я на макарьевском театре, была «Гуситы под Наумбургом» Коцебу, причем я обливался слезами, а вторая пьеса, на московском театре, опера «Павел и Виргиния», где играли Самойловы). Дела задержали отца моего в Сибири. Я прожил почти год в Москве без него, и театр, куда ходил я раза по три в неделю, книги, которых прочитал и накупил я без счета, и университет, куда пробрался я на лекции и где слушал Мерзлякова, Страхова, Гейма, Каченовского, увлекали все мое время. Я не забывал притом писать: сочинил трагедию «Василько Ростиславич», решился продолжать «Опыт повествования о России» Елагина, который казался мне образцом красноречия, написал повесть «Ян Ушмовец», роман и проч., и проч. Отец мой и все семейство наше выехали в Москву в июне 1812 года. «Много ли у тебя осталось денег?» и «Что ты *делал* в Москве?» — были первые вопросы отца. Я указал на груды книг, мною накупленных, и кипу бумаги, мною исписанную. «А дела?» Я безмолвствовал. Кипа была немедленно предана всесожжению; книги читать мне строго запрещено, и мы принялись за *дела*...

Но нам не удалось их много наделать. Августа 26-го мы уже тянулись с другими беглецами из Москвы по Владимирской дороге. Я видел потом пожар Москвы, и в декабре отец мой поехал со мною из Арзамаса, куда укрылись мы, в Петербург, где он кончил старые расчеты с Компаниею. Он стремился теперь на родину, забывши, что оставил ее юношею и возвращается стариком, через *сорок лет*. В июне 1813 года отправились мы из Курска на Дон — делать сахар и ром из арбузов и торговать донскою рыбою. Через год дела отца моего были в самом

печальном положении. Я оставался без дела, определился в контору богатого купца и решился заняться только *делом*. Книги составляли только временную отраду мою. Неумоимо работал я, писал счета, переписывал купеческие письма. В конце 1814 года отец мой снова отправился в Иркутск. В 1815 году я последовал за ним; но, увы! уже около шестидесяти лет легло на плечи доброго отца моего. Остальная жизнь его и будущая участь многочисленного, беспомощного семейства терзали его. Ему не жилось в Сибири. В начале 1816 года он отправил меня опять в Курск, а в 1817 году выехал сам из Иркутска. У нас было очень немного денег; по крайней мере был теперь

320

собственный домик, были и *дела*, но я снова, однако ж, занялся делами моего прежнего хозяина. Здесь наступил новый и решительный переход жизни моей.

Поездки, испытания, обращение с людьми, рано начатое, сделали то, что мне еще не совершилось 20 лет, но я казался совершенно взрослым и прослыл деловым человеком. Уезжая из Курска в 1816 году на Нижегородскую ярмарку, например, мой хозяин поручал мне в управление все торги свои, дом, расчеты и даже строение церкви Знаменского монастыря, куда определен он был членом от общества как градский глава. Все было исполнено мною исправно, к большому удовольствию хозяина. Я сделался замечательным молодым купцом среди моих сверстников. Но, с одной стороны, дела

купеческие уже давно не наполняли души моей: ей чего-то хотелось, чего-то она жаждала, требовала. Я чувствовал даже, что всему уму моему нечем тут заняться, что даже самого времени у меня много останется, как ни занимался бы я делами. Товарищи мои убивали излишек его на забавы и шалости. Я не мог разделять с ними их времяпрепровождения. Чтение без плана и системы было жаждой, которая ничем не утолялась и не вела за собой ничего существенного. С другой стороны, нигде так, как в купеческих отношениях, не чувствуете неравенства состояний. Там все уравнивается капиталом, а без него ум и знание дел оставляют в людских отношениях бездну неизмеримую. Но богатство приобретается тихо, медленно, и нередко годы, жизнь проходят, когда притом судьба купца не вернее судьбы лодки на море в бурю. И жизнь моя, которой так рано испытал я разные стороны, представляла мне в будущем грустную перспективу. Между тем и отец мой начал давать мне больше свободы, видел во мне опору семейства, находя, что я могу быть деловым человеком, и понимая, что странностям моего образования был он отчасти сам причиною. К тому прибавилось у меня оскорбленное чувство самолюбия, когда мне резко дали уразуметь, что ни честное имя, ни уважение к старику отцу моему, ни мои старания и заботы, ни общее мнение, что я отличный молодой купец, не дополняют того, что доставляет купцу честь и славу в его кругу — *богатства*. «Я докажу им, — думал я, — что они ошибаются!» Но как и чем доказать? И жизнь купеческая, и дела опостытели мне. Грусть терзала меня, и тогда-то мне пришло в голову, что только ученью остается в России дорога к *почести без денег*. А между

тем эта дорога ведет именно к тому, что до сих пор составляло лучшее услаждение моей жизни, что составляло до тех пор мою радость и утеху — *книги и науки*. Лекции университета, беседа с учеными мужами будут моею обязанностью, а потом поведут меня к чести и славе, к чинам и к богатству!.. Обольстительный мир раскрывался передо мною; воображение мое рисовало в будущем картины пленительные!.. И еще с 1811 года начал я потихоньку учиться, и прежде всего русской грамматике, по грамматике Соколова¹⁸, которая как-то попалась мне в руки. Тогда же увидел я необходимость знать иностранные языки. Мне надобно было скрывать и таить свое ученье и перед отцом, и перед хозяином: оно могло повредить моей деловой *репутации*, и кроме того, что сказали бы мои товарищи, если бы узнали, что я *учусь азбуке*? А старики, а старухи?.. Пьяный цирюльник наполеоновской армии, итальянец, который остался допивать жизнь свою в одной из курских цирюлен, показал мне произношение французских букв; старик музыкальный учитель, богемец, который учил на фортепиано дочерей моего хозяина и любил после уроков посидеть у меня в конторской комнатке и покурить табаку, научил меня немецкой азбуке. Я нашел в то время друга, с которым мог делиться моими надеждами, моими мечтами, друга, с которым потом пошли мы по дороге жизни, рука в руку, которому одолжен я уверенностью, что дружба не мечта поэзии, но точно святой дар неба, существующий на земле: этот друг был брат мой *Ксенофонт*. Горе и опыт рано коснулись его ума,

крепкого, основательного, его души, сильной, пламенной, но сокрытой под холодную наружность. Противоположность характеров еще более сблизила нас. Раза по три в неделю я уходил после обеда из богатого дома моего хозяина, где жил тогда, в смиренную квартирку на нижней Сергиевской улице, где отец мой нанимал себе две, три комнатки. Ксенофонт нетерпеливо ждал меня, и пока отец отдыхал после обеда, мы уходили за крыльцо и там в углу, на чистом дворе, расстилали рогожу, садились на нее; я вынимал грамматику Соколова, грамматики французскую, немецкую и начинал учить Ксенофонта, чему сам выучился в прошедшие два, три дня... *Двадцать пятый год* идет после того времени, а я помню, живо помню те драгоценные минуты! — Ласковый взор отца, непоколебимого среди горестей жизни, встречал нас потом; мы принимались за чай; я всегда запасался новостями и газетами:

322

мы начинали читать их, и я помню восторг отца, когда я принес ему известие о взятии Парижа. Старик плакал от радости! В Иркутске, в 1815 году, судьба свела меня еще с добрым товарищем, молодым, любезным человеком, который занимался тогда по делам откупа, В. М. Пурлевским (он теперь обер-секретарь в Сенате). Вместе с ним и с Ксенофонтом отыскиали мы какого-то ссыльного поляка, который учил нас по-французски, а оригинал, каких можно встретить не много на свете, старый пастор лютеранской церкви в Иркутске, Беккер, давал нам уроки в немецком языке. — Возвращение мое в

Курск, в 1816 году, было решительно для моих занятий. Ум мой совершенно увлекся новою, дотоле неизвестною мне прелестью — прелестью ученья. Уже не средством для другого, но целью жизни моей сделалось оно. Мне стало казаться все равно: останусь ли я купцом и бедняком, буду ли чиновником и губернатором курским — высшая цель моего честолюбия! — все равно, только бы учиться! Между тем средства мои были чрезвычайно стеснены. Я не мог и подумать нанять себе учителей. Жалованья моего едва доставало мне на одежду, на небольшое уделение отцу, и едва мог я тратить безделку на книги. Дела хозяйские не давали мне досуга днем, и вечера и ночи сделались лучшими часами моей жизни. Мои они были, и их никому не отдавал я. Иногда свечка моя погасала с утреннею зарею, и я, едва уснувши три, четыре часа, шел в контору к моему хозяину или, проработавши в конторе его до ночи, дома засаживался с радостью за свои уроки. Вскоре увидел я всю недостаточность, всю нелепость образования своего до того времени. Мне надобно было пересоздавать все мои идеи, весь запас читанного мною с самого детства. Изучение языков повело меня в новый мир чтения. Настойчивое размышление показало мне недостаток систем и образа обыкновенного учения. Я решился сам для себя написать русскую грамматику и русскую историю. Грамматика Академии¹⁹ и «История государства Российского»²⁰ не удовлетворяли меня, когда я сравнивал первую с ясною, точною грамматикою латинскою, а вторую с Тацитом по слогу, с летописями по изложению фактов. Изучение латинского и греческого языка, переводы с немецкого, французского, переработка русской грамматики, критический разбор русской истории — вот что составляло теперь мои занятия. Я

отказался от легкого чтения и не писал уже ни стихов, ни прозы. Нарочно налагал

323

я на себя самые тяжкие работы: выучивал по триста вокабул²¹ в вечер; выписал все глаголы из Геймова «Словаря»²², переспрягал каждый отдельно и составил новые таблицы русских спряжений (в 1822 году почтенный П. П. Свиньин представил их в Российскую Академию, и мне выдана была за них в награду большая серебряная медаль). Силы мои казались мне неистощимы; все было так легко, так подручно, а впереди все так светилось и блестело!.. В 1817 году осмелился я, при самом учтивом письме, послать к издателю «Русского вестника» мое описание проезда и пребывания в Курске императора Александра, и — не умею вам пересказать, с каким упоением увидел я на серых листочках «Вестника» четким курсивом напечатанные под статьею слова: *Н. Полевой!* Весь Курск был изумлен красноречивым описанием того, что еще живо трепетало в сердце каждого, что составляло предмет всех разговоров. С изумлением узнал мой хозяин, что в его конторе скрывается *гениальный* молодой человек, как говорили ему и губернатор, и все, что было почетного в Курске. С радостью услышал о том и отец мой. Бывший тогда губернатор курский А. С. Кожухов сделался моим заступником и меценатом; я был приглашен на его вечера, балы, получил свободный вход в кабинет его, перед которыми на вытяжке стояли все другие и старые, и чиновные люди. Но между тем торжество мое внутренне тревожило меня — увы! я видел,

что вся статья была переправлена, перечерчена издателем «Русского вестника», и я должен был сознаться самому себе, что переправки его были справедливы. Следовательно, я еще *плохой писатель*, думал я. Что же делать? «Учиться!» — было мне беспристрастным ответом в душе моей, и когда в 1818 году я отправил уже в «Вестник Европы», одну за другою, две статьи: замечания на статью о Волосе и перевод Шатобрианова описания Маккензиева путешествия по Северной Америке²³, с радостью увидел я, что редактор «Вестника Европы» не переправлял их нисколько. Весь 1819 год занимался я делами отцовскими, оставя моего хозяина, и уже не скрывал своих ученых занятий. К покровительству губернатора присоединилось знакомство с просвещенным архипастырем епископом Евгением после того, когда я прочитал свое стихотворение в собрании Библейского общества, 6 января 1819 года, и оно было осыпано похвалами всего собрания. В феврале 1820 года я навсегда оставил Курск. Отец мой решился

324

сделать последнее усилие для поправления своих обстоятельств и, собравши все, какие были у нас, средства, завести водочный завод в Москве. Меня отправил он для приуготовлений, и пока в декабре приехал сам, мне была полная свобода делить время между делом и *бездельем*. Впрочем, и отец мой уже не считал *бездельем* моих занятий, когда увидел, что они везде доставляют мне знакомство и уважение и с тем вместе не отвлекают от дел. — Лето 1821 года прожил я по

делам в Петербурге. Здесь в первый раз увидел я Грибоедова и Жуковского. П. П. Свиньин встретил меня как друга, с распростертыми объятиями: он видел во мне кулика—самоучку и был от меня в восторге. Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин оказали мне самое радужное внимание. Грех было бы мне забыть тех, кто ласковым приветом отогревал мою душу среди тогдашних моих обстоятельств — они были тяжелы, и наука, ученье были для меня и моего доброго Ксенофонта единственным средством забвения среди печальной сущности. Отец мой видимо таял — болезнь смертельная снедала его. Он благословил нас и уехал в Курск в марте 1822 года. В мае я спешил к нему. Казалось, весна еще оживила его. С радостною надеждою простился я с ним, а 26 августа добродетельный старец уже не существовал в мире, оставя мне и братьям моим только честное имя, отцовское благословение на смертном одре и надежду на труд, который, рано или поздно, не остается без награды... Я сделался старшим, заступил место отца в нашем многочисленном семействе, а мне было только двадцать шесть лет — но тем было лучше. Юность не знает безнадежности; она не видит вокруг себя мрачных бездн бытия, и когда горе встречается с нею, она готова спросить у него: «Не брат ли ты радости?»

Пора кончить. Готов просить прощения у читателей в моей говорливости. Кому любопытен может быть мой рассказ? Признаюсь, я и не думал излагать здесь моего жизнеописания, но к слову пришлось, и видимо, что старость подает мне клюку свою, если рассказ о *прошедшем*, о *бывалом* увлекает меня невольно. Впрочем, он ознакомит немного читателей «Очерков» с самым сочинителем их, а такого знакомства я вовсе не боюсь и

**почту истинной наградой, если рассказ мой послужит
утешением какому–нибудь юному собрату, который так
же тернистою тропею идет по пути жизни, как шел по ней
я, опираясь на костыль Труда, освежаясь тихим лепетом**

325

**Надежды и с Верою в Провидение. Сколько раз, в часы
безотрадной грусти, на берегах Дона и Ангары, Тускори и
Москвы, повторял я слова нашего поэта–утешителя:**

**...Доверенность к Творцу!
Что б ни было — незримый
Ведет нас к лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно в след!
Прочь низкое, прочь злоба!
Дух бодрый на дороге бед
До самой двери гроба...²⁴**

326